

Классическая социальная теория и Французская революция 1848 года¹

КРЕЙГ КАЛХУН

Три классических «отца-основателя» социологии — Конт, Маркс и Токвиль — были современниками Французской революции 1848 года. Несколько иная теоретическая традиция была представлена Пьером-Жозефом Прудоном, также ставшим свидетелем событий 1848 года. Данная статья суммирует взгляды этих теоретиков-очевидцев и отмечает некоторые классические положения, которые современные исторические исследования предлагают пересмотреть. В статье выдвигаются три основных тезиса: 1. Революция 1848 года оказала прямое влияние на формирование классической социальной теории через те выводы (ныне частично пересматриваемые), к которым пришли очевидцы революционных столкновений. 2. Революция 1848 года косвенно повлияла на классическую социальную теорию, способствуя упадку французской радикальной революционной традиции (в том числе утопического социализма) после поражения июньского восстания и перехода власти к Наполеону III. 3. Принадлежащим к классической традиции и современным исследователям не удалось адекватно представить фундаментальную перемену в эффективности национальных интеграции, коммуникации и управления, существенно приблизившую 1848 год к 1789-му в ключевых пунктах больше, нежели о том свидетельствовали рост классовой борьбы и вероятность дальнейшей революции в развитых капиталистических странах.



ЛЕКСИСУ де Токвилю и Карлу Марксу, с социологической точки зрения наиболее прогрессивно мыслящим современным исследователям, революции середины XIX века виделись не только отголосками 1789 года и других предшествующих событий, но и предвестниками чего-то ново-

1. Перевод выполнен по изданию: © *Calhoun C. Classical Social Theory and the French Revolution of 1848 // Sociological Theory. Autumn 1989. Vol. 7. № 2. P. 210–225.*

го. Токвиль видел угрозу социальному порядку в росте протестов 1847–1848 годов, который был вызван не только революцией, но и неожиданной эскалацией классовой борьбы. В октябре 1847 года Токвиль (в отличие от Маркса) создал черновик «Манифеста», публикация которого планировалась группой французских парламентариев, однако так и не состоялась. В «Манифесте» он характеризовал акторов политической борьбы, используя базовые экономические категории:

Политическая борьба между имущими и неимущими вскоре начнется; важнейшим полем боя будет собственность, главные политические вопросы будут касаться более или менее глубокого изменения прав собственности. Тогда мы снова станем свидетелями великих общественных волнений и увидим великие политические партии².

Маркс также рассматривал политическую борьбу в классовых терминах и обвинял буржуазию в принуждении рабочих к борьбе. Подобно Токвилю, будущее, созданное июньскими событиями, он видел таким:

У рабочих не было выбора: они должны были или умереть с голоду, или начать борьбу. Они ответили грандиозным восстанием 22 июня — первой великой битвой между двумя классами, на которые распадается современное общество. Это была борьба за сохранение или уничтожение *буржуазного* строя. Покрывало, окутывавшее республику, было разорвано³.

В начале XIX века либеральные республиканцы сформулировали понятие «перманентной революции», но именно в поражениях 1848 года оно приобрело значение не постепенных преобразований, но потребности распространить революционную борьбу за границы буржуазности:

В то время как демократически настроенные мелкие буржуа хотят как можно быстрее закончить революцию в лучшем случае с проведением вышеуказанных требований, наши интересы и наши задачи заключаются в том, чтобы сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы⁴ не будут отстранены от власти, пока пролетариат не завоеует

2. *De Tocqueville A. Recollections / J. P. Mayer, A. P. Kerr (Eds.), G. Lawrence (Trans.). N.Y.: Doubleday Anchor, 1971. P. 15.*

3. *Маркс К. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2. М., 1954. Т. 7. С. 51 (курсив автора).*

4. Учитывая акцент, который Маркс в поздних работах делает на точном определении класса, здесь стоит отметить неточность формулировки, например, «более или менее имущие классы».

государственной власти, пока ассоциация пролетариев не только в одной стране, но и во всех господствующих странах мира не разовьется настолько, что конкуренция между пролетариями в этих странах прекратится и что по крайней мере решающие производительные силы будут сконцентрированы в руках пролетариев⁵.

Все же революция не была перманентной, и столкновения 1848–1851 годов были в числе последних главных переворотов уходящей революционной эпохи, а не началом новой.

В этой статье я хочу изучить то влияние, которое Французская революция 1848 года оказала на формирование классической социальной теории. Вначале я рассмотрю взгляды современных исследователей революции, утверждающих, что одна из важнейших оценок событий 1848 года потерпела неудачу именно из-за поражения революции и не смогла в полной мере отразиться в классической социальной теории. Я кратко отмечу, как в последующих исторических исследованиях осмысление событий 1848 года, унаследованное от классиков, было изменено. Наконец, я предложу критический подход к исследованию революции 1848 года, в котором она будет рассмотрена в связи скорее с прошлым Западной Европы, чем с ее будущим, и это отличает мой подход от воззрений ориентированных на будущее современных исследователей.

I

В широко известном сочинении Реймон Арон описал взгляды Конта, Токвиля и Маркса на 1848 год. Каждый из них был современником (а двое — и заметными участниками) событий революционного года. Арон достаточно обоснованно отнес Конта, Токвиля и Маркса к числу основателей трех величайших традиций в социологии: исключительно социальной (во многом консервативной), автономно политической (либеральной) и экономической (или радикальной). Арон определенно считал этот идеологический треугольник отражением самого конфликта XIX столетия с его монархистскими, либерально-демократическими и радикальными/социалистическими силами. Он предположил, что нечто подобное этой трехчастной структуре характерно и для социальных конфликтов XX века:

...в период между 1848 и 1851 годами Франция пережила политическую битву, сходную с политическими конфликтами XX века

5. Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. Т. 7. С. 261.

больше, чем любое другое событие из истории XIX века. Действительно, в период с 1848 по 1851 год можно было наблюдать трехстороннюю борьбу между теми, кого в XX веке называли фашистами, более или менее либеральными демократами и социалистами (такую борьбу можно было видеть, например, в Веймарской Германии между 1920 и 1933 годами)⁶.

В этой характеристике есть доля истины, учитывая ограниченность сравнения (какой конфликт XIX века наиболее схож с событиями XX века), однако еще больше причин для осторожности. Бонапартизм, например, мог разделять с фашизмом сочетание национализма, призывов к порядку и эффективности, но фашизм определенно не был продолжением старого монархического режима, а особым порождением современности. Кроме того, Гитлеру слишком льстит сравнение с Луи Бонапартом, и лишь немногим менее возмутительным оно выглядит в случае с Муссолини. Были, разумеется, некоторые структурные сходства с приходом различных «правых» движений к власти и персонификацией политики, отчасти восторжествовавшей в 1848 году и в полной мере — в 1930-х годах. Даже если мы придаем идеологическим силам больше сходства, чем я это показал, мы должны будем указать на структурные основания левых и правых движений XX века, например развитую систему коммуникации на уровне нации и административный аппарат.

Возможно, 1848 год лучше рассматривать, следуя хронологии: как точку разлома между классической эпохой революций и современностью, лежащую посередине между французской революцией и возвышением фашизма. В любом случае следует предельно ясно описать, в чем состоят сходства, а в чем различия. Неважно, является ли стакан полупустым или наполовину полным, ароновский подход теоретического сопоставления представляет безусловный интерес. Я суммирую и расширю его описания и противопоставления, а затем воспользуюсь случаем указать на то, как одно ключевое обстоятельство интеллектуальной преемственности оказывается им упущенным по причинам, непосредственно связанным с 1848 годом.

Революция пугала стареющего Огюста Конта, и он снова обрел уверенность с началом правления Бонапарта. Конт мало интересовался представительными институтами, конституционализмом или парламентской системой (которую считал простой случайностью в истории Англии). Он полагал, что политические меры носили не фундаментальный, но внешний характер, и требовалось лишь привести их в соответствие с общим разви-

6. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Общ. ред. и предисл. П. С. Гуревича. М.: Издательская группа «Прогресс» — «Политика», 1992. С. 275.

тием общества. Поэтому он мог усмотреть нечто положительное даже в коммунизме, написав (а затем опубликовав) следующее:

Это доказательство того, что сейчас революционные тенденции направлены на решение моральных вопросов, оставляя все су-
губо политические на заднем плане⁷.

Он сделал это вскоре после революции 1848 года, осознав необходимость подчеркнуть большую важность экономического по сравнению с политическим, собственности по сравнению с властью. Отчасти это изменение, по мысли Конта, было связано с влиянием позитивизма и в конечном счете обозначало угасание опасных тенденций метафизической, революционной мысли:

Мы определенно видим здесь изменение, которое позитивизм привнес в революционную концепцию действия рабочего класса в отношении общества. Бурные дискуссии о правах он заменяет мирным определением обязанностей. Бесполезные споры об обладании властью он замещает исследованием правил, регулирующих ее мудрое использование...⁸

Конт оставался в стороне от основных событий 1848 года и фактически праздновал переворот 2 декабря. Ранее он наблюдал (и считал здоровой) политическую тенденцию к принятию диктатуры:

Посреди политических потрясений, во власти духа революционных разрушений массы людей демонстрируют покорное подчинение интеллектуальным и моральным лидерам, чье руководство они принимают и от которых могут принять даже временную диктатуру, имея насущную и важнейшую потребность во власти. Таким образом, индивидуальные предрасположенности оказываются в гармонии с направлением социальных отношений как целым, показывая нам, что политическое подчинение несколько неизбежно, настолько, в сущности, и необходимо⁹.

Арон заключает:

Он с самого начала радовался разрушению представительных и либеральных институтов, которые, по его мнению, были связаны с деятельностью критического и анархического метафизического разума, а также со слепым поклонением особенностям политической эволюции Великобритании¹⁰.

7. *Comte A. Systeme de Politique Positive // Auguste Comte and Positivism: The Essential Writings / G. Lenzer (Ed.). N.Y.: Harper, 1975. P. 356.*

8. *Ibid.*

9. *Ibid.* P. 277.

10. *Арон Р. Указ. соч. С. 276.*

Токвиль, напротив, оставался важнейшей политической фигурой 1840-х годов — как до, так и после февральской революции. Хотя он стал ключевым министром послереволюционного правительства, он надеялся, что переворота удастся избежать, и с сожалением думал о его возможности (хотя я и не нахожу в его работе «Воспоминания» (Recollections) того отчаяния и подавленности, которые обнаруживает Арон). Токвиль считал парижский радикализм действительно популярным, хотя ложным и опасным. Вот как писал он об июньских днях:

Нужно отметить, что это ужасное восстание было не плодом труда небольшого числа заговорщиков, но бунтом одной части населения против другой. Женщины принимали в нем участие наравне с мужчинами¹¹.

Позднее, размышляя над произошедшими событиями, Токвиль вернулся к более типичной консервативной позиции. Как министр иностранных дел, он выступал в защиту военного нападения французской республики на итальянских республиканцев. Он описывал римскую революцию как начавшуюся «с насилия и убийства» и добивался легитимации правительственных намерений «положить конец бесчинствам или, скорее, усмирить демагогическую клику», которая несла за них ответственность¹².

Токвиль связывал революцию прежде всего с кровопролитием, беспорядками и угрозой собственности. Он не сочувствовал июльской монархии, но тем не менее выразил ей сдержанное и уклончивое одобрение, отметив, что это правительство «было одним из самых коррумпированных, но наименее кровавыми из когда-либо существовавших»¹³. Революция 1789 года, по мнению Токвиля, вышла далеко за законные пределы в низвержении старого режима, при этом многие в 1848 году (равно как и в 1830-м) были готовы продолжать распространять революцию на другие сферы общественной жизни, а также попытаться еще раз установить республиканскую форму правления. Токвиль, далекий от понимания 1848 года как простого продолжения 1830 и 1789 годов, тем не менее изо всех сил подчеркивал, что «люди, обвиняемые в подавлении революции 1848 года, были теми самыми, кто создал революцию 1830 года»¹⁴. В этом контексте он подчеркивал, что, по его представлению, «одно время никогда не повторит в точности другое, и старые картины,

11. *De Tocqueville A.* Op. cit. P. 170.

12. *Ibid.* P. 382, 388.

13. *Ibid.* P. 46.

14. *Ibid.* P. 47.

помещенные в новые рамы, будут всегда выглядеть неуместно», или, в иной фразеологии, «все исторические события отличаются, а прошлое лишь немногому учит нас о настоящем...»¹⁵.

Однако Токвиль не считал революцию 1848 года лишь игрой случая, порожденной особыми, рукотворными причинами. К общим причинам, провоцирующим индустриальную революцию, он относил «страсть к материальным удовольствиям», «демократическую болезнь зависти», труды по экономической и политической теории (в особенности те, которые поощряли «веру в то, что человеческую нищету вызывают законы, а не провидение и что бедность можно искоренить, изменив общественную систему»), распространенное презрение к правящему классу и в особенности к правительству, административную централизацию и общую «изменчивость всего — институтов, идей, нравов и людей — в обществе, находящемся в движении», своего рода общую предрасположенность к переворотам¹⁶. Тем не менее едва ли Токвиль связывал эти общие причины с неким идеалом прогресса. Напротив, какими бы ни были идеалы революционеров (многих из них он считал скорее оппортунистами, нежели идеалистами, и не сочувствовал социально наиболее радикальным среди них), главный результат, по его мнению, состоял в смене полуполитической, более или менее либеральной и умеренной, «ублюдочной», как он ее называл, монархии авторитарным режимом. Токвиль был сторонником республики как таковой, враждебным Бонапарту, чьи имперские амбиции он осуждал, и июньским повстанцам, которым он готовился противостоять на улицах. Впрочем, как социолог, Токвиль с начала революции считал авторитарный исход более вероятным.

В гораздо меньшей, нежели Токвиль, степени непосредственно вовлеченный в политическую жизнь, именно Маркс наиболее прочно ассоциируется с Французской революцией 1848 года. Два важнейших ретроспективных сочинения о революции («Классовая борьба во Франции с 1848 по 1859 год» и «18 брюмера Луи Бонапарта») входят в число наиболее значительных его работ по политическому анализу. Более того, идеи Маркса, особенно позднего времени, оказали колоссальное влияние на формирование повестки дня в исторических исследованиях феномена революции. Отчасти в силу того, что 1848 год оказался решающим испытанием для марксизма, к июньским событиям в последних публикациях обращаются куда чаще, чем к февральским, социализму уделяется больше внимания, чем республиканизму или национализму, а выборы 1848 года были исследованы

15. Ibid. P. 48.

16. Ibid. P. 79.

скорее с точки зрения выяснения причин победы Луи Бонапарта, чем объяснения слабости выступлений радикалов.

Маркс и Энгельс разразились буквально десятками статей о событиях 1848–1851 годов, а также несколькими более обстоятельными ретроспективными работами. Революционные движения 1848 года (и не только во Франции) обозначили решающий, поворотный момент в их творчестве. Это был не просто момент наиболее активной и непосредственной вовлеченности Маркса в политику, но еще и конец предыстории марксизма как в политическом, так и, опосредованно, теоретическом смысле. С политической точки зрения Маркс считал революцию соответствующей интересам буржуазно-демократических и социалистических сил. Однако он оставил революцию, удовлетворенный объединением Германии под прусским владычеством (поскольку Пруссия олицетворяла индустриализацию, в отличие от аграрной Южной Германии); он оставил революцию, будучи убежденным, что радикальные и социалистические интересы с необходимостью приведут революцию к победе, когда она начнет свой марш под флагом буржуазной демократии.

Маркс еще мог оценить значительные плюсы июньского поражения в Париже, когда в 1850 году писал:

Превратив свою могилу в колыбель буржуазной республики, пролетариат тем самым заставил последнюю выступить в своем истинном виде, как государство, признанная задача которого — увековечить господство капитала и рабство труда. <...> Только окунувшись в кровь июньских инсургентов, трехцветное знамя превратилось в знамя европейской революции — в красное знамя!¹⁷

Переворот Бонапарта 1851 года свел на нет кратковременный оптимизм Маркса относительно французского лидерства в европейских революционных событиях. Однако это не повлияло ни на базовое осмысление Марксом революции как борьбы ведомых материальными интересами социальных классов, ни на его понимание 1848–1851 годов как всего лишь первых шагов на пути к окончательной социалистической революции в Западной Европе. Одна из центральных идей «18 брюмера Луи Бонапарта» состоит в том, что радикалам 1848 года была свойственна чрезмерная обращенность в прошлое, использование устаревшего языка и неспособность сыграть на ясном понимании классовой борьбы, характеризующей капиталистическое общество. В силу этого они повторили 1789 год как фарс, вместо того

17. Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. Т. 7. С. 53–54.

чтобы осуществить пролетарскую революцию. В «18 брюмера» июньские дни становятся тем моментом, когда стало ясно, что «в Европе дело идет не о споре на тему: „Республика или монархия?“, а о чем-то другом. Это поражение [июньских повстанцев] обнаружило, что буржуазная республика означает неограниченное деспотическое господство одного класса над другими»¹⁸.

Язвительная неприязнь Марксом буржуазного республиканизма и буржуазной демократии может стать понятной лишь в контексте 1852 года, когда буржуазные режимы не только проявили свою способность поддерживать авторитарные правительства, но и оказались в нескольких странах вовлечены в кровавое подавление народных восстаний. Революцией 1848 года европейское демократическое движение оказалось доведено до своего самого оглушительного поражения. Это важно для понимания марксизма, поскольку прежде Маркс и Энгельс поддерживали сильнейшие политические связи с радикальными демократами и националистами. Несмотря на риторику «Манифеста Коммунистической партии», марксов фокус на рабочих носил в большей мере теоретический характер и не исключал — до начала революции — возможное единство пролетариата и буржуазных демократов. Именно поражение революции заставило Маркса и Энгельса обратить первоочередное внимание на рабочее движение и порвать с радикальными демократическими кругами¹⁹. В политике, заключает Маркс, Великобритания и в еще большей степени США были скорее исключениями, хотя в экономике первая вполне может быть моделью будущего для Германии. Хотя Маркс предполагал, что США, Великобритания и Нидерланды найдут мирную, неревOLUTIONционную дорогу к социализму, он также предсказывал, что в итоге буржуазия США воспримет авторитарные методы подавления рабочего движения, используя в качестве модели опыт Европы.

Оглядываясь на февральскую революцию, Маркс рассматривал ее опыт как исключительно бесполезный. Возможно, причина этого кроется в проявленном им в период работы над *Neue Rheinische Zeitung*²⁰ энтузиазме относительно революционной демократии. В своем исследовании июньского мятежа Маркс пытался выявить причины того, что казалось ему поражением пролетариата и его буржуазных союзников. Как отмечают исследователи, в том числе Линдемманн, подход Маркса был в чем-то схож с подходом Токвиля:

18. Там же. Т. 8. С. 133.

19. Lichtheim G. *Marxism*. L.: Routledge and Kegan Paul, 1964. P. 78.

20. Нем. «Новая Рейнская газета» — ежедневная газета, которую Маркс издавал в 1848–1849 годах в Кёльне. — Прим. пер.

И Маркс, и Токвиль, столь разные в своем происхождении и предпочтениях, были убеждены, что июньские дни были вступлением к фундаментально нового вида борьбе, важнейшим столкновением капитала и рабочей силы, имущих и неимущих²¹.

Маркс и Токвиль разделяли презрительное отношение к бонапартистскому правлению после 2 декабря, но давали различные социальные толкования сложившемуся режиму. Маркс видел в Бонапарте поддержанный крестьянами компромисс между финансовым и промышленным капиталом. Токвиль в свою очередь винил не столько подспудный интерес, сколько саму революцию в воцарении Бонапарта:

Кандидатура Луи Наполеона. Здесь мы вновь видим печать февральской революции; народ является главным деятелем; события происходят без участия выдающейся фигуры или хотя бы действий высших или средних классов²².

С точки зрения Токвиля, неправильным в Наполеоне III было не его сходство с монархом, но его несходство; то, как он продвигал материальные интересы в обществе, ограничивая дух (и реальность) просвещенного политического участия даже среди элит; его добровольная жертва политической легитимности внутри страны и попытка создать империю вовне. Хотя Токвиль едва ли разделял надежды монархических партий, возложенные на Луи Наполеона, он был полностью готов выступить на их стороне против социализма и революции:

Не желая смешиваться с монархическими партиями, я без колебания голосовал вместе с ними за все меры, призванные восстановить порядок и дисциплину в обществе и одолеть революционную и социалистическую партию²³.

Токвиль написал это несколькими предложениями выше своего заявления, что «правление Луи Наполеона поразило меня как *наихудшее* из возможных итогов республики, и я не хотел участвовать в этом»²⁴. Хотя и кажущийся худшим этот финал был лучше продолжения революции и основания так называемой социальной республики. Иными словами, удивительно, но Токвиль был готов действовать именно так, как марксова теория

21. Lindemann A. S. A History of European Socialism. New Haven, CT: Yale University Press, 1983. P. 83.

22. De Tocqueville A. Op. cit. P. 348 (курсив автора).

23. Ibid.

24. Ibid. (курсив автора).

предсказывала: считать порядок и собственность неразделимыми и достойными принесения в жертву даже самой республики. Однако идеи Токвиля о законном правительстве содержат больше, чем классовые интересы Маркса. По утверждению Арона, Токвиль был страстно предан политической свободе, которую считал одним из наиболее важных доступных нам благ. Большой недостаток реакционного дрейфа к Луи Наполеону — явление «государства, менее свободного, чем монархия»²⁵. Токвиль писал в «глубокой печали»:

Думаю, я увижу, как свобода моей страны растворяется в незаконной и абсурдной монархии²⁶.

Когда Токвиль удалился от общественной жизни, чтобы писать мемуары, Маркс уехал в Англию, в ставшее постоянным изгнание, чтобы в Британском музее погрузиться в свою героическую борьбу с политэкономией капитализма. Сделав это, он сохранил в себе глубокое ощущение предельной тщетности и/или банальности попыток политических реформ, которые не обращались к фундаментальному разделению общества на классы. Действительно, одним из самых устойчивых последствий революции 1848 года (и не только для Маркса) было разрушение того, порой напряженного, единства, которое ранее составляли социалисты и демократы. Но во времена, когда ни социализм, ни демократия не были чем-то самим собой разумеющимся, нельзя было предположить, что «объективные интересы» сделают очевидным для любой подчиненной группы ответ на вопрос: что из них предпочесть или же бороться за оба одновременно? Любопытно, что Маркс завершает «18 брюмера» предположением, что Наполеон III, пытаясь быть патриархальным покровителем всех классов, столкнулся с противоречивой задачей и в попытке ответить на взаимоисключающие требования ввел «все буржуазное хозяйство в сплошной хаос»²⁷. По крайней мере в сфере управления экономикой Луи Бонапарт как император был куда успешнее, чем предсказывал Маркс.

Вернемся ненадолго к характеристике, данной Ароном аналитическим традициям, воплощаемым (пусть и не в каждом конкретном случае) Контом, Токвилем и Марксом. Наряду с Монтескьё Токвиль оказывается основателем «школы нескольких не dogматических социологов, прежде всего интересующихся политикой; тех, кто, не сбрасывая со счетов социальную инфра-

25. *De Tocqueville A.* Op. cit. P. 348.

26. *Ibid.* P. 349.

27. *Маркс К., Энгельс Ф.* Указ. соч. Т. 8. С. 113.

структуру, подчеркивает автономию политического строя и мыслит либерально»²⁸. Себя Арон идентифицирует с этой «французской школой политической социологии»; отвлекшись от национальных особенностей, мы можем увидеть сходство с Вебером.

Конт оказывается основателем традиции, на вершине которой стоит Дюркгейм, а ее представителей Арон называет «официальными и признанными социологами современности»:

Эта школа умаляет значение политики и экономики и выделяет социальное как таковое, фокусируясь на единстве всех проявлений социального и считая основополагающим понятие согласия. Представленная многочисленными исследованиями и разработавшая понятийный аппарат школа стремится к реконструкции целостности общества²⁹.

В главе, посвященной 1848 году, Арон — не вполне, впрочем, справедливо — говорит о Конте как о заместителе Дюркгейма и игнорирует ряд важных расхождений в их подходах³⁰.

Марксизм, с точки зрения Арона, «сочетает объяснение социального целого в терминах экономической организации и социальной инфраструктуры со схемой развития, гарантирующей ее приверженцам победу и мирное или насильственное устранение еретиков»³¹. Все это кажется несправедливым уже в силу попытки опровергнуть марксистский анализ общества исходя из его связи с популярной марксистской политической эсхатологией и тоталитарными режимами, которые называют себя марксистскими.

Однако оставим в стороне вопрос справедливости этих характеристик; полагаю, практически все согласятся с тем, что Арон разумно определяет три важнейшие школы социологической теории и что эти школы являются центральными, по меньшей мере в традиции классического макросоциального анализа. Вопрос о том, почему именно эти традиции стали главными после 1848 года, остается открытым.

28. Арон Р. Указ. соч. С. 295.

29. Там же. С. 295–296.

30. Сравнение в первую очередь несправедливо для Дюркгейма, чья социология была гораздо более обоснованной и тонкой. В частности, социология Дюркгейма не в такой степени основана на понятии согласия, как это описывает Арон. Центральной задачей для Дюркгейма является исследование того, каким образом общество может *все еще* сохранять единство *после того*, как относительный консенсус коллективного сознания будет нарушен разделением труда и социальной дифференциацией. В своем акценте на идее согласия, и особенно в последней процитированной фразе, Арон, кажется, обвиняет Дюркгейма в близости не только Канту, но и Парсонсу.

31. Там же. С. 296.

Во время самой революции на улицах, в Учредительном собрании и на баррикадах присутствовали еще две примечательные интеллектуальные позиции. Они имели своих выразителей, которые, впрочем, не обрели значимого места в истории социальной теории. Одно из этих направлений соединяло утопический социализм, коммунитарный радикализм и некоторые формы анархизма. Эта традиция выступала не только за политические и экономические реформы, но также за качественную трансформацию внутренней жизни, отношений с природой и внутри социума. С ней была тесно связана, а иногда и совпадала французская революционная традиция с ее идеалами справедливости и равенства, риторикой прав и признанием легитимности прямых социальных действий для решительной защиты этих прав. После 1851 года французская революционная традиция (или, более широко, традиция буржуазной революции в целом) оказалась включена в академическую жизнь как традиция политической теории, уже лишенная связей с революционными программами и отделенная от конкретного социального анализа. Коммунитарная, утопическая традиция стала скрытой альтернативой, небольшим каналом, проложенным параллельно основному руслу — по крайней мере в академических кругах. Жизненную силу она сохранила лишь в актуальной политике.

Тем не менее именно этими двумя традициями руководствовались главные действующие лица революции 1848 года. В частности, события 1848 года понимались современниками в большей степени через отсылку к событиям 1789 года. Переворот Луи Наполеона казался Марксу лишь фарсовым повторением истории, Токвиль счел его трагедией, а для миллионов французов, у которых это событие вызвало радость или досаду, оно стало частью реальной жизни. Под французской революционной традицией я имею в виду не только попытку понять позднейшие революции, подгоняя их под шаблон 1789 года (хотя в 1848 и 1830 годах происходило именно это)³². Под француз-

32. Фактически между двумя революциями Луи Блан взял на себя ответственность за реализацию предложения Маркса и Арнольда Руге о радикальном сотрудничестве Франции и Германии в изучении французского Просвещения, революционных традиций и уроков 1789 года. Как считал Блан, немецким гегельянцам следует поучиться у французов избегать неправильных революционных шагов, например излишнего сосредоточения на воинствующем атеизме (см.: *Kramer L. Threshold of a New World: Intellectuals and the Exile Experience in Paris, 1830–1848*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988. P. 125–126). Прудон выделялся в ряду французских социалистов своим презрением к религии (см.: *Woodcock G. Pierre-*

ской революционной традицией я имею в виду не только использование идеи о революции 1789 года, но и последующее обращение тех идей, которые родились в то время (включая понимание работы и основных социальных групп, а также более эксплицитно — политических³³).

Прослеживая воздействие этой традиции на социальную теорию, Стивен Сейдман (Steven Seidman) описывает ее главные идеи — справедливость, социальное равенство, которые, в свою очередь, считаются условиями для счастья, социальной солидарности и свободы. Он пишет:

Трудно переоценить то значение, которое французская революционная традиция, от Руссо к эгалитаристам Бабефу, Бланки и Прудону, придавала социальному равенству и социальной справедливости как главнейшим частям своей идеологии³⁴.

Однако свести французскую революционную традицию к этим двум идеалам — значит лишить ее значительной части радикальной энергии. Помимо справедливости и равенства данная традиция включает признание прямого действия «народа» фундаментальным источником политической легитимности. Традиционная риторика часто проявлялась в терминах прав и свобод. К 1848 году революционная традиция в достаточной степени смешалась с утопическим социализмом и коммунизмом. Пока дискуссия о равенстве и справедливости процветала в уважаемых академических кругах, более ра-

Joseph Proudhon: His Life and Work. N.Y.: Schocken, 1972. P. 90–91, 100–101), и его нельзя однозначно назвать апостолом революции. Однако в письме Марксу в 1846 году он отразил французскую революционную традицию социальной мысли, когда писал об изменении «теории Собственности против Собственности таким образом, чтобы создать то, что вы, немецкие социалисты, называете *общиной* и которую в данный момент я назову лишь *свободой* или *равенством*» (Proudhon P.-J. *La Revolution Sociale Demonstree par le Coup d'Etat du 2 Decembre*. 6me Edition. Paris: Garnier Freres, 1969. P. 151 (курсив автора)). В том же письме Прудон резко критикует то, что он воспринимает как стремление Маркса к авторитаризму или догматизму: «...хотя мои идеи об организации и реализации в настоящее время весьма устоялись, по крайней мере в вопросах принципиальных, я убежден, что мой долг и обязанность всех социалистов — сохранять в течение некоторого времени отношение критцизма и сомнения. Словом, я публично выступаю за почти полный антидогматизм в экономике. <...> Ради Бога, когда мы уничтожим все *априорные* догмы, мы не позволим себе даже думать о внушении людям своих собственных» (Ibid. P. 150).

33. См.: Sewell W. Jr. *Work and Revolution in France: The Language of Labor from the Old Regime to 1848*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

34. Seidman S. *Liberalism and the Origins of European Social Theory*. Berkeley: University of California Press, 1983. P. 148.

дикальный вариант, совмещающий революционную традицию с коммунитарной и утопической мыслью, был исключен из академии и стал развиваться за ее пределами, нередко в форме сугубо скрытой традиции. Дискредитирована она была во многом из-за того, что ее последователи потерпели поражение в революции 1848 года.

В 1848 году Пьер-Жозеф Прудон был в авангарде теоретиков этой традиции. В настоящее время Прудон обычно упоминается в примечаниях к истории социальной теории, и лишь немного большего внимания его удостаивают в истории политического радикализма. В обоих случаях он упоминается в основном как объект критики Маркса. Но, несомненно, в 1848 году во Франции (и большей части Европы) он был гораздо более значительной фигурой, чем Маркс, а его идеи оказали серьезное влияние на Парижскую коммуну 1871 года, а затем на синдикализм, в особенности на теоретические построения Жоржа Сореля³⁵. Радикальные представители этой традиции, наследники Руссо, оказались за пределами академической истории социальной теории. В некоторых случаях это было связано с тем, что они не оставили примечательной и хорошо разработанной теории; в других — с тем, что исследователи с неохотой признали марксизм академической темой под влиянием иллюзии, что он является единственной серьезной радикальной теорией, — иллюзии, которую марксисты не особенно стремились развеять.

Влияние революции 1848 года на утопический социализм и идеи французской революции оказалось ироническим. Ни один представитель традиции народного радикализма не основал собственной школы, а поражение этой традиции дискредитировало и популистскую риторику, и утопизм. Дискредитация, впрочем, проявилась лишь в специфических, относительно независимых областях. После первоначальных попыток создать союз Маркс едва мог скрыть свое презрение к Прудону и еще до 1848 года сделал его объектом нападок в книге «Нищета философии» (Прудон, в свою очередь, назвал Маркса «ленточным червем социализма»³⁶). Менее радикальные теоретики, казалось, были склонны следовать за Марксом в осуждении Прудона и других утопических социалистов популистского толка, хотя и не соглашались с Марксом в прочих положениях. Все же, как выразился Линдеманн, в течение XIX века большинство французских рабочих «оставались вовлечены в кустарное

35. См., например, солидное приложение «Толкования Прудона» (*Exegeses proudonniennes*) в: *Sorel G. Matériaux d'une théorie du prolétariat*. N.Y.: Arno Press Reprint, 1975.

36. См.: *Woodcock G. Op. cit.* P. 102.

производство и не доверяли крупной промышленности. Если и возможно выбрать одну личность, говорившую от их имени, то ею был Пьер-Жозеф Прудон»³⁷. Тот факт, что труды Прудона, как и остальная часть популистской, утопической, радикальной традиции, были решительно отвергнуты интеллектуалами, но не народом, по-видимому, раздражал интеллектуалов еще больше.

Идеи Прудона, как и многих синдикалистов, творивших и живших после него, сложно классифицировать в терминах «правые-левые», и это делает их опасными. Если некоторые синдикалисты дрейфовали к фашизму, то Прудон (и Коббетт в Англии) обращался к кругу, который я назвал «реакционными радикалами»³⁸. Данное мировоззрение полностью не исчезло ни в одной западной стране, но его расцвет был более длительным во Франции, чем в Англии (и более влиятельным во время революции 1848 года, чем в ее английском изводе того периода: позднем чартизме³⁹). Отчасти так сложилось из-за относительно размеренного процесса индустриализации и сопровождающей его социальной трансформации во Франции, отчасти же из-за того, что либерализм там был укоренен столь слабо, что не смог ни снискать значительной общественной поддержки, ни поспособствовать торжеству в массовом представлении идей свободы над справедливостью⁴⁰.

Сам Прудон встретил февральскую революцию со смешанным чувством. 24 февраля он записал в дневнике: «Они сделали революцию без идей»⁴¹. Тем не менее, отчасти по настоянию последователей, Прудон принял участие в ее событиях как пропагандист идеи «социальной республики». Он был в числе социалистов, потерпевших поражение на выборах в Учредительное собрание в апреле. Выступал также (очевидно, выдавая нужду за добродетель) основным критиком идеи, что республика с всеобщим избирательным правом может стать основой для начала революционных перемен. Он утверждал, что простая опо-

37. Lindemann A. S. Op. cit. P. 106.

38. Calhoun C. *The Question of Class Struggle: Social Foundations of Popular Radicalism in Industrializing England*. Chicago: University of Chicago Press, 1982; *Idem*. *The Radicalism of Tradition: Community Strength or Venerable Disguise and Borrowed Language?* // *American Journal of Sociology*. 1983. Vol. 88.

39. *Idem*. *Industrialization and Social Radicalism: British and French Workers' Movements and the Mid-Nineteenth Century Crisis* // *Theory and Society*. 1983. 12. P. 485–504.

40. Я не буду пытаться представить здесь все возможные континентальные сравнения. Что бы там ни было, французский опыт 1848 года оказал наибольшее влияние на классическую социальную теорию.

41. Woodcock G. Op. cit. P. 118.

ра на всеобщее избирательное право, а не на прямое действие откроет путь сползанию республики к монархии и уменьшит вероятность перехода политической революции в экономическую. Прудон утверждал, что возможная гармонизация интересов, объявлявшаяся основой представительного правления, на деле порождает анархию, поскольку попытка основать представительное правительство без экономических усилий по фактическому согласованию интересов приведет лишь к приходу авторитарной власти, выступающей в защиту интересов одних в ущерб интересам других:

Кто говорит о представительном правлении, говорит о гармонии интересов; кто говорит о гармонии интересов, говорит об отсутствии правительства⁴².

Эта идея в чем-то сходна с представлением Маркса об ослаблении государства, хотя средства, предложенные этими мыслителями для его преодоления, заметно различались⁴³.

Влияние Прудона росло в революционные месяцы. Он был одним из девяти членов временного правительства, сформированного во время неудачного восстания 15 мая, а в июне победил на выборах и вошел в Ассамблею (наряду с Виктором Гюго, Адольфом Тьером и Луи Наполеоном). Вначале Прудон считал, что июньские события — плод политических интриг и провокаций. Но уже на следующий день он убедился, что восстание было действительно, хотя и неявно социалистическим по духу. «Его первой и решающей причиной были социальные вопросы, социальный кризис, труд, идеи», — писал он⁴⁴. Определеннее, чем кто-либо еще, он называл *и* июньских повстанцев, *и* мобильную гвардию представителями рабочего класса (в широком, домарксистском смысле). Он считал восстание, по существу, результатом четырехмесячной безработицы, за которой последовало закрытие национальных мастерских⁴⁵. Помимо таких отсылок к непосредственному опыту («великие события

42. Proudhon P.-J. Op. cit. P. 271.

43. В 1846 году Прудон написал Марксу, что утратил веру в то, «что прежде называлось революцией, но представляло собой просто потрясение <...> нам не следует предлагать *революционных* действий как средств социальных преобразований, поскольку это предполагаемое средство будет лишь призывом к силе и произволу» (*Idem. Selected Writings of Pierre-Joseph Proudhon / S. Edwards (Ed.), E. Fraser (Trans.)*. L.: Macmillan, 1969. P. 151 (курсив автора)).

44. Цит. по: Woodcock G. Op. cit. P. 130.

45. Производственные цеха для безработных пролетариев во Франции. — *Прим. пер.*

всегда объясняются незначительными причинами»⁴⁶), Прудон объяснял революционные события исходя из господствующих в обществе идей. Он утверждал, что правительство сковано догмами, унаследованными от предшественников (например, в сфере общественной безопасности); он считал государственный переворот 2 декабря «однозначным логическим следствием идей, преобладавших во Франции между февралем и декабрем 1851 года»⁴⁷.

Действительно, первые впечатления Прудона от революции 1848 года были достаточно негативными. Он даже предвосхитил знаменитую марксову характеристику (1852) повторения в революционной истории Франции, когда писал в феврале 1848 года:

Я слышу, как рабочие кричат: «Да здравствует республика! Долой лицемерие!» Бедняги! Они находятся во власти *лицемерия*. Его носители — это именно те, кто рассчитывает стать правителями, и первые, кто будет обманут. Повсюду интриги; сплетни празднуют победу. Опьяненные историческими романами, мы разыграли повторение 10 августа [1792 года] и 29 июля [1830]. Не замечая этого, мы все стали персонажами фарса⁴⁸.

Прежде чем отдать себя делу революции полностью, Прудон искал уверенности в том, что события были не «искусственными», а являлись продуктом «спонтанности»⁴⁹. Прудон никогда не отказывался от интерпретации революции как дела всего народа, а не авторитетных политических лидеров. В 1849 году он резко выступил против положения, что революционные перемены могут осуществляться под эгидой просвещенного правительства:

Любая революция «сверху» неизбежно является <...> революцией диктатуры и деспотизма. <...> Все революции, со времен первой коронации до Декларации прав человека, совершались народом стихийно. Если некогда правительства и шли за народом, делали они это не по своей воле. Почти всегда они предотвращали, подавляли и боролись с революцией. Никогда по собственному желанию они не производили коренную ломку. Их роль — не помощь прогрессу, но его сдерживание. Даже если бы они поняли, хотя это невероятно, науку революции или социальную науку, они не смогли бы привнести ее в практику. У них не было бы такого права⁵⁰.

46. Proudhon P.-J. *La Revolution Sociale...* P. 16.

47. *Idem*. *Selected Writings...* P. 164.

48. *Ibid.* P. 154 (курсив автора).

49. См. в: *De Tocqueville A.* *Op. cit.* P. 348 (цитированной выше).

50. Proudhon P.-J. *Op. cit.* P. 156–157.

Упомянув здесь Прудона, мы не стремимся представить его мыслителем, с точки зрения интеллектуальной традиции стоящим в одном ряду с Марксом, Токвилем или Контом (хоть он и небезынтересен). Задача состоит скорее в том, чтобы привлечь внимание к скрытой традиции, доведшей революционные идеалы равенства и справедливости до радикальной крайности, где они соединились с коммунитаристским понятием солидарности (иногда придавая братству большее значение, чем сама французская революция), основанной на прямом действии «народа» (или, к 1848 году, пролетариата, понимаемого в широком, немарксистском смысле как все, кто работает) как наиболее существенной силы в истории; эта традиция осмысляла действительность в терминах утопических преобразований. Дискредитация этой школы мысли произошла из-за поражения 1848 года, что заставило последующих исследователей забыть или отрицать ту важную роль, которую эта традиция играла в революционном брожении⁵¹.

Упадок радикальной французской революционной традиции (и примыкающих к ней традиций в других странах) был связан с ослаблением демократического либерализма в континентальной Европе. Отзвуки буржуазных революций звучали в академическом политическом дискурсе о правах, равенстве и правосудии (преимущественно в англоязычных странах), но были вытеснены из социологической теории, которая, в свою очередь, процветала на континенте⁵². В 1840-е годы широкий общест-

51. Заметное исключение: *Sewell W. Jr.* Op. cit.

52. Как уже упоминалось, эта традиция была вызвана к жизни, возможно, в наибольшей степени благодаря Сорелю. Мишле (друг Прудона и еще один апостол «народа») был значимым последователем этой традиции; отметим, что привлекательной особенностью работы Эдмунда Уилсона «К станции Финляндии» (*To the Finland Station*. N.Y.: Doubleday, 1971), представляющей собой историю радикализма, является внимание к фигуре Мишле, которого часто игнорировали. Что касается Арона, стоит отметить, что французская революционная традиция играла заметную роль в идеях Эмиля Дюркгейма (см.: *Seidman S.* Op. cit.). Дюркгейма не следует считать последователем Конта, хотя его труды можно упрекнуть в пренебрежении политикой (и утверждении, что политика — эпифеномен деятельности фундаментальных социальных сил). Необходимо признать, что, когда Дюркгейм выказывал свою связь с радикальной политической мыслью, Сорель занимал в его представлениях место более значительное, чем Маркс или марксисты. Тем не менее Дюркгейм — довольно своеобразный представитель французской революционной традиции, поскольку он сочетал лояльность республиканскому государству с минимизацией политического (здесь я несколько не согласен с Сейдманом (*Ibidem*), который считает, что Дюркгейм полностью принадлежит к этой традиции, возможно, потому, что он сужает традицию до идей равенства и справедливости, не принимая во внимание признание пря-

венный резонанс вызвали коммунитаризм утопического социализма и популистская версия французской революционной традиции. После 1851 года оба эти, отчасти совпадающие течения потеряли интеллектуальную респектабельность, но не поддержку масс. Эта потеря явилась одной из причин того, почему идеи коммунитарного радикализма, прямого действия народа и единства равенства и справедливости стали нуждаться в переосмыслении, дабы стать частью политической и социальной теории 1960-х годов. Не будет большим преувеличением сказать, что волнения 1968 года вернули легитимность некоторым идеям восставших и потерпевших поражение в 1848 году⁵³.

III

Классическая социальная теория в любом случае извлекла три главных урока из революции 1848 года. Подобно фазам революции, им можно присвоить названия трех знаменитых месяцев. Урок февраля состоял в том, что недемократические правительства могут (в критические моменты) легко быть свергнуты, хотя демократическую стабильность установить несколько сложнее. Дальнейшие события вызвали к жизни дебаты о том, ведет ли падение либеральной демократии 1848 года непосредственно к фашизму.

Уроком июня было возникновение убеждения, что верность классу является основой политики, а классовая борьба — к добру или худу — выходит за пределы «просто буржуазной демо-

мого политического действия народа и риторики его прав). Признать революционную традицию, воплощенную в государстве и прославляемую в его коллективных образах, все же не то же самое, что принадлежать к революционной традиции настолько полно, чтобы самому стать революционером.

53. Большую часть XX века социальная теория и социологический анализ обвинялись в неадекватной оценке революции. В последнее же время, во многом под влиянием второго рождения марксизма, этой теме было посвящено немало исследований, но даже марксисты и сочувствующие им часто рассматривали революцию в «нормализаторском» ключе. Они подчеркивали чисто политическое и экономическое измерения революции, исключая более широкие культурные и социально-психологические аспекты; они недооценивали роль страстей и преувеличивали роль расчетов (такими же оказались очень многие из ретроспективных обзоров 1968 года). Однако революционный энтузиазм художников, изобилие новых свобод, пьянящее ощущение новых возможностей (порой, вероятно, иллюзорное) нельзя исключать из социологических исследований. Этот вопрос стоит в одном ряду с марксистским обличением утопического социализма, будучи одновременно исторической неточностью, ошибкой политической тактики и обеднением политического воображения.

кратии». Любое допущение единства интересов всех людей было признано устаревшим. Здесь новейшая ревизионистская история непосредственным образом опровергала устоявшееся представление. В ряде выдающихся работ утверждается, что ремесленники сыграли большую роль в революции 1848 года, чем марксистский пролетариат⁵⁴. (Такой ревизионизм настолько преуспел к 1983 году, что Трауготт назвал его «новой ортодоксией».) Имеется, однако, существенное расхождение в том, как оценивать исключительную роль ремесленников в революции. Одно направление мыслителей включает их в широко и внутренне разнообразно понимаемый пролетариат, все еще находясь в пределах основных концептуальных рамок марксизма⁵⁵. Другое направление утверждает, что это допущение в корне подрывает теоретический смысл категорий Маркса и вместе с тем скрадывает огромную пропасть между ремесленниками (а также другими радикалами, стоящими на более традиционных основаниях и часто использующими популистскую риторику) и современным рабочим классом⁵⁶.

Классический урок июня был поставлен под сомнение исследованием, утверждающим, что и Маркс, и Токвиль были не правы, когда усматривали решающие различия между повстанцами и их гонителями в июньские дни в классовом происхождении (или иных социальных характеристиках) тех и других. Марк Трауготт в своей работе 1985 года заложил фундамент утверждению, что между двумя сторонами июньских столкновений не было серьезных различий в происхождении, которыми можно было бы объяснить их принадлежность к противоположным партиям⁵⁷. Скорее, как он считает, конкретная история органи-

54. Ключевой источник этого тезиса: *Price R. The French Second Republic: A Social History*. Ithaca: Cornell University Press, 1972; см. также рассуждение о языке и организации труда в: *Sewell W. Jr. Op. cit.*, и обобщение выводов в: *Calhoun C. Industrialization and Social Radicalism: British and French Workers' Movements and the Mid-Nineteenth Century Crisis // Theory and Society*. 1983. Vol. 12 и *Working-Class Formation: Nineteenth-Century Patterns in Western Europe and the United States // I. Katznelson, A. Zolberg (Eds.)*. Princeton: Princeton University Press, 1987.

55. *Aminzade R. Class, Politics and Early Industrial Capitalism: A Study of Mid-Nineteenth Century Toulouse, France*. Albany, NY: State University of New York Press, 1981.

56. *Calhoun C. The Radicalism of Tradition: Community Strength or Venerable Disguise and Borrowed Language? // American Journal of Sociology*. 1983. Vol. 88. P. 886–914.

57. Выводы Трауготта несколько шире используемых им данных. Он указывает на существенное сходство в самоопределении, основанном на предшествующем роде деятельности членов национальных мастерских и мобильной гвардии, но это едва ли исчерпывает возможные отличия в общественном положении или предшествующем опыте. Также работа Траугот-

заций, к которым они принадлежали и которыми были мобилизованы, должна стать основным пунктом, вызывающим интерес исследователя. Одно из следствий такого анализа — акцент на текущем характере политической лояльности во время революции, ее подверженности влиянию организаций и дискурса (хотя Трауготт придает небольшой вес идеям). Революции действительно могут отчасти быть результатом базовых структурных факторов, и эти последние могут влиять на то, какую сторону примут люди. Однако влияние частных, случайных исторических факторов безмерно.

Урок декабря (и 1848, и 1851 годов) прост: революция стремится заставить «партию порядка» дать бонапартистский или авторитарный ответ. Революция, согласно этому представлению, не могла сформировать устойчивый либеральный режим. Классическая социальная теория склонна, однако, предпочесть скорее эволюционный взгляд на отношения между политикой и экономикой. В случае Франции сравнение с Британией основывается на признании, что экономическое развитие первой в некотором роде является «отсталым». Некоторые связывают это с ее революционной историей (и несовершенством), другие — с тем, что происходящие во Франции революции порождены ее предполагаемой экономической отсталостью. Однако последние исследования оспаривают подобное экономическое допущение⁵⁸. Авторитаризм не сделал Вторую империю экономически неэффективной. Равным образом популярная идея о замедлении индустриального развития не была вовсе бессмысленной даже с точки зрения экономики⁵⁹. Один из аспектов декабрьского урока подтверждается: и революция, и реакция, кажется, способствуют дальнейшей централизации и расширению функций правительства⁶⁰.

та не подтверждает влияния возрастных различий, отмеченного как его современниками, так и последующими исследователями. «Организационную гипотезу» Трауготта следует принимать как частичное и возможное объяснение, не исключающее прочих.

58. См., в особенности: *O'Brien P., Keyder C. Economic Growth in Britain and France, 1780–1914: Two Paths to the Twentieth Century.* L.: Allen and Unwin, 1978.

59. *Calhoun C. The Retardation of French Economic Development and Social Radicalism During the Second Republic: New Lessons from the Old Comparison with Britain // Global Crises and Social Movements: Artisans, Peasants, Populists and the World Economy / E. Burke III (Ed.).* Boulder, CO: Westview Press, 1988. P. 40–71.

60. Вклад революции в бюрократизацию и централизацию правительства был главным уроком, извлеченным Вебером из истории революций, хоть исследованию конкретных событий 1848 года или феномену революции как таковому он посвятил немного времени. Фактически оказывается, что Вебер счел случившееся в 1848 году государственным переворотом,

Прежде чем перейти к заключению, я бы хотел сформулировать тот урок революции, который можно было извлечь из событий 1848 года, но который не был усвоен (хотя и оказался тесно связан с последним тезисом об административной централизации и росте правительства). К сожалению, существенно развить эту тему в рамках данной статьи не представляется возможным. Фактически и Маркс, и Токвиль пришли к выводу, прямо противоположному моему собственному. Отчасти потому, что им не удалось соответствующим образом оценить кардинальные социальные перемены.

В значительной степени 1848 год стал последней западноевропейской революцией классического городского типа. Она характеризовалась (а) концентрацией власти в городе; (б) существованием городской публичной сферы, в которой политические идеи могут свободно циркулировать за пределами отдельных социальных слоев⁶¹; (в) наличием городской толпы, готовой взять в руки оружие (и имеющей опыт борьбы); (г) потенциальной поддержкой обычно относительно аполитичных «традиционных групп» за пределами городской публичной сферы, ведомых мотивирующим их давним недовольством старым режимом (например, крестьяне, мелкие ремесленники и некоторые категории провинциальных работников). Эти потенциальные основания для революции, разумеется, не исчезли в Западной Европе одномоментно, но больше никогда не проявлялись при столь удачном стечении обстоятельств, хотя и обнаруживались в менее успешных событиях 1871 года в Париже и в 1905 году — в Германии и России (разумеется, бакунинский извод русского радикализма наследовал Прудону и не смог захватить государ-

а не революцией и подчеркивал, что степень усиления правительственной бюрократии сделала «подлинную» революцию невозможной:

«При всех сменявших друг друга властителях Франции со времен Первой империи машина власти сохранялась, по существу, той же. Такая машина производит „революцию“, насильственно создавая абсолютно новые властные структуры, технически все более и более невозможные, в особенности когда государственный аппарат контролирует современные средства связи (телеграф и т. д.), а также благодаря его внутренней рациональной структуре. Франция классическим образом продемонстрировала, как этот процесс заместил государственные перевороты „революциями“: все успешные преобразования во Франции считаются государственными переворотами» (*Weber M. Economy and Society // From Max Weber / H. H. Gerth, C. W. Mills (Eds.). L.: Routledge and Kegan Paul, 1948. P. 230*).

61. Прежде всего я имею в виду Париж, но также (в меньшей степени) основные провинциальные городские центры.

ственной власти в 1917 году, хотя и способствовал низвержению старого режима). Где бы мы ни обозначили конец такого революционного потенциала, 1848 год следует считать моментом его упадка, а не взлета или расширения влияния.

Одной из черт революции, наиболее полно реализовавшихся в судьбе, например, Токвиля и Прудона, было то, насколько велико значение революционной драмы в непосредственном взаимодействии и личных отношениях. Не только представители различных революционных элит находились в прямом контакте друг с другом, но и слухи, подобно электричеству, пронизывали парижские улицы. Утром 24 февраля Токвиль услышал от своего повара, что «правительство избивает бедный народ»⁶². Как только он вышел на улицу, «ощутил революцию в воздухе». Идя к дому одного из советников короля, он встретил и спросил гвардейца, который спешил поднять оружие в защиту народа.

Примечательно, что в социальной теории обходится молчанием тот факт, что революция 1848 года практически полностью происходила в Париже⁶³. Она состояла из ряда в высшей степени локальных событий, например передвижения толпы от Ассамблеи к городской ратуше (Отель-де-Виль). Париж вполне уместно называют символом французских революций, поскольку все они оставались парижскими, даже отзываясь, усиливаясь или, как произошло в 1848 году, прекращаясь в провинции. Национальные мастерские находились в Париже (что привело к наплыву в него безработных). Разумеется, республиканское правительство должно было бороться с проблемами в провинциальных городах. Но, как прежде Луи Филипп, министры ощущали угрозу, исходящую от парижской толпы. Расширение электоральной базы благодаря всеобщему избирательному праву явилось в равной степени способом сдержать революцию и продолжить ее (хотя к 1851 году часть провинций станет более активной⁶⁴, чем Париж). Даже когда революционное движение распространилось по Франции, оно рассматривалось как обострение локальных противоречий. Правительство страны было строго локализовано, и напасть на него можно было в одном месте — в Париже.

62. De Tocqueville A. Op. cit. P. 46.

63. Историки, например Стернс, писали об этом более определенно: «Революция по существу была почти исключительно парижским делом» (Stearns P. N. 1848: The Revolutionary Tide in Europe. N.Y.: Norton, 1974. P. 81).

64. См.: Margadent T. French Peasants in Revolt: The Insurrection of 1851. Princeton: Princeton University Press, 1979; Agulhon M. La Republique au Village. Paris: Plon, 1970.

Неудивительно, что Маркс и Токвиль принимали этот городской характер революции как нечто само собой разумеющееся. Маркс, к примеру, истолковывает его в терминах различия интересов городского пролетариата и крестьянства. Однако он не принимает во внимание тех следствий для теории революции, которые влечет за собой конец старой модели доминирования города, закат города, который Гидденс точно, хоть и неуклюже назвал «сосудом власти»⁶⁵. Уже неоднократно отмечалось, что Париж был коренным образом перестроен после 1848 года⁶⁶. Произошло не только расширение его бульваров (среди прочего, возможно, уменьшившее преимущества повстанцев в баррикадных боях и облегчившее перемещения войск). Изменилось расположение промышленных объектов, жилых домов, правительственных зданий. Незамеченным, однако, осталось, что даже во Франции, возможно наиболее централизованной из современных держав, уровень концентрации правительства в столице заметно снизился. Администрация была распределена между провинциями, что резко сократило шансы на превращение городского восстания в настоящую революцию. Отчасти это было продемонстрировано в 1871 году, когда сильный городской мятеж (в котором проявлялись прудоновские идеи) оказался решительно не в состоянии произвести национальную революцию⁶⁷.

Революция по модели 1848 года (которая в определенном практическом, материальном смысле не слишком отличалась от революции 1789 года) перестала быть возможной после того, как страны объединили железные дороги, телеграф, улучшили административную инфраструктуру и т. п. Фактически ни одна из новаций 1848 года не предлагала пути более успешной революционной политики. В июне «железные дороги впервые сделали возможным прямое вмешательство провинций в парижское восстание»⁶⁸. Ни одно современное правительство европейской (или, шире, «богатой») страны не может быть свергнуто простыми бунтами в столице. Отчасти это объясняется тем, что само правительство уже не находилось в столь ограниченном пространстве. Этот урок был отчасти усвоен Марксом и другими наблюдавшими за судьбой Парижской коммуны в 1871 году. Впрочем, это не отразилось на базовом понимании

65. *Giddens A. The Nation-State and Violence. Berkeley: University of California Press, 1985.*

66. *Harvey D. Consciousness and the Urban Experience. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985. Ch. 3.*

67. Разумеется, другие факторы также были важны в ограничении масштаба восстания 1871 года, особенно прусская армия.

68. *Stearns P. N. Op. cit. P. 91.*

революции Марксом, равно как и многими другими, сформированном опытом 1848 года и его размышлениями над годом 1789-м. Аналогично изменилось значение французской революционной традиции. Она могла оставаться культурным наследием, но дочернее почтение к достижениям минувшей революции радикально отличается от принятия революционной позиции в собственную эпоху. Дюркгейм лишь весьма условно принадлежал к французской революционной традиции. Более того, смысл любого обращения к повседневному участию в политической жизни коренным образом меняется при смещении фокуса с парижской и других имеющих локальную привязку ситуаций на Францию вообще, объединенную медиа — от газет до телевидения. И здесь вновь поучительным оказывается контраст с 1968 годом.

Хотя Грамши и не рассуждал об изменившемся месте города или преобразовании социальной инфраструктуры как таковой, в нескольких кратких пассажах он действительно описал радикальное изменение в революционной политике, обозначенное 1848 годом:

Современные политические приемы полностью изменились после 1848 года; после распространения парламентаризма и ассоциативных структур союзов и партий, роста государственной и «частной» бюрократии (то есть политически частной, относящейся к партиям и профсоюзам); после преобразований, которые имели место в организации сил правопорядка в широком смысле...⁶⁹

Преобразования после 1848 года были крайне важны для подъема того вида идеологической гегемонии, которую Грамши считал характерной для зрелого капитализма. Вместо постоянной революции, предполагал он, каждый видел «надолго установленное согласие»⁷⁰.

69. *Gramsci A. Selections from Prison Notebooks / Q. Hoare, G. N. Smith (Eds., Trans.).* L.: Lawrence and Wishart, 1971. P. 221.

70. *Ibid.* P. 80. Разумеется, кто-то может сказать, что при старом режиме до 1789 года существовала идеологическая гегемония. Грамши предполагает, что имеются как видовые, так и смысловые различия. Конечно, старый режим, как и любой другой, извлек выгоду из уступок. Но ему не нужно было, как режиму индустриализованной капиталистической страны, обучать и мобилизовывать своих граждан до такой степени, чтобы достижение согласия начало представлять определенную проблему. В то же время структурные (и инфраструктурные) препятствия к организации стабильного революционного движения в Европе того времени казались огромными. Разумеется, в определенном смысле современное понятие революции зависит от существования чего-то подобного современным государствам. Хотя правительства того времени

После 1848 года революционная инициатива в наиболее развитых европейских странах была обречена исчезнуть среди прочего потому, что эти последние развивались на новом уровне интеграции национальных инфраструктур управления, транспорта и коммуникаций. Старая революционная традиция продолжала существовать в тех частях мира, где национальная инфраструктура была ослаблена, а столицы играли особую центральную роль. В этих условиях поиски демократии и социальная революция оказываются связаны. Это является основной причиной того, почему революции, в классическом смысле слова, распространены сейчас только в странах третьего мира⁷¹.

Удивительно, но социальной теории еще лишь предстоит уделить должное внимание изучению подобных изменений инфраструктуры. Наши концепции революции и социальной интеграции остаются сформированными по большей части опытом непосредственных межличностных отношений и игнорируют растущее значение непрямых взаимодействий, опосредованных технологиями и сложными организационными структурами. Такие новые структуры действительно стали распространяться во Франции и большей части Европы в результате революции 1848 года и в качестве реакции на нее. Наполеон III был большим любителем железных дорог.

По-настоящему новым в событиях 1848 года был аспект, прямо зависящий от усовершенствований транспорта и коммуникаций того времени. Французская революция 1848 года была частью кризиса, потрясшего Европу и оказавшего влияние на происходящее на других континентах. Капитализм стал в полной мере международным и проложил путь, следуя которому идеи революции, национализма⁷² и демократии могли перемещаться из одних условий в другие. Но тот же путь усиливал карательные и, возможно, в еще большей степени обычные органы управления, созданные для того, чтобы предотвращать кризисы, подобные произошедшему в середине XIX века в Европе.

сталкивались с множеством угроз, революция в том же смысле в их число не входила.

71. Разумеется, присутствует значительное разнообразие в отношениях между городом и деревней и в уровне национальной интеграции, характерном для стран третьего мира, в которых происходят революции. Я здесь указываю на общую модель и не утверждаю, что она единственно возможная.
72. Национализм был важной стороной революций 1848 года, особенно в Восточной и Южной Европе. Этот момент также мало рассматривался в классической социальной теории и считался чем-то унаследованным от прошлого, а не неотъемлемой частью современности, однако эта тема выходит за рамки нашей работы.

В этом отношении мыслители, подобные Марксу, Конту, Токвилю и Прудону, участвовали в международном обмене идеями, который стал заметно интенсивнее, если не полностью обновленным. 1848 год был медийным событием, освещаемым недавно основанными газетами по всей Европе и Америке. В этом, как и в некоторых прочих деталях, та революция была предвестницей 1968 года. Но она не была предвестницей революции рабочего класса, о которой мечтал Маркс и которой опасался Токвиль, отчасти потому, что условия для такой революции были в большей степени, чем признавали эти исследователи, связаны с переходными моментами в западноевропейской истории и в меньшей — с вопросом линейных, накопленных изменений.

V

Перечислим основные положения данной статьи. Поскольку Французская революция 1848 года играла важную роль в жизни нескольких классиков социологии и поскольку она отражала социальные условия и движения, на которых те непосредственно фокусировались, ее события предоставляют нам удобную точку зрения для анализа некоторых важных сторон их идей. Революция 1848 года оказала заметное влияние на формирование классической социальной теории через уроки (некоторые из которых сейчас подвергают пересмотру), извлеченные из наблюдений за революционной борьбой.

В частности, и Маркс, и Токвиль полагали, что новая черта, привнесенная в политику революцией 1848 года, заключается в усилении классово-борьбы. Однако ни нетерпеливое ожидание Маркса, ни страх Токвиля не были полностью оправданы. Я доказывал значение двух причин такого положения дел.

Во-первых, и Маркс, и в меньшей степени Токвиль недооценивали положение и силу популистской идеологии, воплощенной Прудонем. Они недооценивали то, насколько рабочие, склонные к таким идеям, например занятые на мелких предприятиях, занятые ремеслами или задействованные на иных, не заводских работах, были оплотом революции. Революция 1848 года также повлияла на классическую социальную теорию, поспособствовав упадку радикальной французской революционной традиции (наряду с утопическим социализмом) после поражения июньских повстанцев и бонапартистского переворота. К сожалению, многие позднейшие исследователи просто не замечали силу этого направления мысли.

Во-вторых, классической традиции (и многим современным аналитикам) также не удалось адекватно представить основные

социальные изменения, усовершенствования инфраструктуры и управления, которые сделали революцию 1848 года в ее ключевых аспектах более схожей с революцией 1789 года, чем прямым свидетельством дальнейшего продолжения революционной классовой борьбы в западноевропейских странах. Такова роль усовершенствований транспортной и коммуникационной систем и, отчасти благодаря им, большей эффективности государственного управления (и как следствие, капиталистической системы). Структуры и органы власти стали менее локализованными, что затрудняет атаку на них традиционными революционными методами.

Перевод с английского Романа Сафронова